

Недавно в "Российской музыкальной газете" (№ 4 за 2002 год) появилась статья В.И. Прохоровой "Трагедия предательства", в которой моему отцу, композитору А.Л. Локшину (1920-1987), предъявлено обвинение в доносительстве, и я вынужден на эту статью отвечать.

Прежде всего скажу, что статья Прохоровой написана как литературное произведение и насыщена яркими подробностями событий полувековой давности, что должно свидетельствовать о незаурядной памяти ее автора. В статье создан на первый взгляд убедительный психологический портрет гения-злодея (композитора Локшина). Суть статьи — в пересказе серии разговоров Прохоровой со следователем и свидетелями, вызванными по ее делу (речь идет о 1950-е годы). Беда заключается, однако, в том, что все эти эпизоды допускают неоднозначное толкование. В статье Игоря Маслова ("Новая газета", 2001, 26-28 ноября) подробно рассказывается о приеме, которым в наши дни владеет каждый мало-мальски обученный следователь; с помощью вариантов этого приема упомянутые в статье Прохоровой ситуации могут быть объяснены как результат сознательной режиссерской работы следователя, направляющего подозрения арестованной в нужное ему русло. Смысл этих действий следователя в том, чтобы прикрыть стукача при помощи дискредитации другого человека.

Чтобы не быть голословным, разберу ключевой эпизод из упомянутой серии, в основу которого положен — как я считаю — трюк с характерным для Прохоровой словом.

Слово "шакалы" является для Прохоровой характерным (см. вышеупомянутую статью, а также статью А. Григорьева "Прохоровы с Трех гор" в "Известиях" от 12.05.1998). Уверена ли Прохорова, что употребляла это характерное для нее слово только при моем отце? Я, например, убежден в противоположном.

Теперь приведу цитату из статьи Прохоровой: "В конце ноября 1950 года мне устроили очную ставку с сестрой Шуры — Марией Лазаревой, очень болным человеком. Она дрожала и сначала не могла вымолвить ни слова и только после того, как следователь пригрозил ей привлечением к уголовной ответственности, робко сказала, что я плохот влияла на ее брата, ругала соответствующие органы, называла их "шакалами". Но с Марией Лазаревой я вообще никогда ни о чем не разговаривала..." (здесь и далее курсив мой. — А.Л.). Прохорова приходит (я же считаю, что ее аккуратно подводят) к выводу: брат сообщил сестре, что Прохорова называет органы безопасностью "шакалами" и послал свою сестру на Лубянку. Вот что пишет Вера Ивановна по этому поводу: "Мне очень легко было отрицать все показания Марии Лазаревой, хотя именно после очной ставки с ней мне стал понятен целенаправленный характер бесед со мной Шуры... Таким образом, мать и сестра Шуры, а также его лучший друг выступили в роли лжесвидетелей".

Однако Прохорова упускает из виду иную возможность: сестру моего отца привозят на Лубянку и с помощью угроз заставляют "вспомнить" то, чего она никогда в жизни не слышала. Показания моей тетки, в которых присутствует характерное для Прохоровой слово (известное "органам" от остающегося незамеченным стукача), автоматически бросает тень на моего отца, что "органам" и требуется.

То, что Прохорова считает моего отца законченным злодеем, неудивительно. Ведь он, по ее мнению, не ограничился тем, что послал лжесвидетельствовать свою мать и лучшего друга, но не пожалел и родной сестры, которая еле держалась на ногах. (Незадолго до этого моя тетка перенесла тяжелую операцию, в ходе которой ей удалили шесть ребер и одно легкое. Ее дважды привозили на Лубянку из санатория — в первый раз она отказалась что-либо подписывать.)

Попробуем теперь взглянуть на эту ситуацию с иной точки зрения. Прохорова считает моего отца очень умным человеком (хотя и злодеем). Однако одновременно она, не замечая того, приписывает ему идиотические действия. Ведь мой отец, по ее мнению, услышав от нее в разговоре наедине про "шакалов", заставляет свою сестру сообщить об этом самой Прохоровой (на очной ставке). То есть зачем-то совершает саморазоблачение. Поэтому интерпретацию, даваемую Верой Ивановной всему эпизоду, я считаю неверной. Замечу, что возможно еще одно, совсем уж простое объяснение показаний моей тетки, от которой я знаю, что, хотя Прохорова лично с ней почти не разговаривала и вообще ее практически не замечала, но вела себя предельно неосторожно в большой компании, собиравшейся в доме моего отца, где моя тетка также присутствовала. Так что не исключаю, что моя тетка могла просто повторить то, что слышала от Прохоровой на самом деле.

Прежде чем переходить к разбору следующего эпизода, напомним читателю о том, что на Лубянке — чтобы сбить арестованных с толку — использовались так называемые "типовые антисоветские высказывания" (см. "Воспоминания" Надежды Мандельштам). Продолжу теперь цитировать Прохорову: "...единственный раз, когда мы оказались с Мееровичем и Локшиным вместе, за одним столом — был день рождения Шуры, кажется, 19 сентября 1949 года, у него дома. Тогда при прощании на лестничной площадке, когда все остальные гости уже прошли вперед, Локшин сказал мне: "Вера, посмотрите на портрет Маленкова. Это самый лютый антисемит, и мне придется за него голосовать". Я ответила, что все они одним миром мазаны, все сволочи и негодяи (за точность формулировок я не ручаюсь), не все ли равно. Вот это и пытался на очной ставке мне повторить несчастный Миша Меерович..."

И вот, по мнению Прохоровой, мой отец, услышав от нее в разговоре наедине вышеприведенную фразу (или даже примерно такую!) посылает через год с лишним своего лучшего друга на Лубянку, чтобы тот напомнил об этом самой Прохоровой... Но ведь так не поступил бы не только очень умный, но даже минимально сообразительный стукач (если он не хочет, чтобы его разоблачили, конечно). Значит, интерпретация Прохоровой данного эпизода (равно как и предыдущего) неверна.

Вместо того чтобы приписывать моему отцу злонамеренное абсурдное действие, Прохорова могла бы предположить совершенно иное: Мееровича вызывают на Лубянку и заставляют "вспомнить" несколько (а не одно! — см. также статью "Прохоровы с Трех гор") типовых антисоветских высказываний из лубянских списков и приписать их Прохоровой. То, что одно из этих высказываний окажется похожим на какую-нибудь фразу самой Прохоровой, сказанную ею в течение года, имеет очень высокую вероятность. Очевидно также, что Прохоровой подсказывают, в каком направлении вести поиски врага: очная ставка с Мееровичем происходит в тот же самый день, что и очная ставка с сестрой моего отца (см. статью Прохоровой).

Не правда ли, такие действия "органов" надежно прикроют настоящего стукача?

Но зачем "органам" так стараться для прикрытия какого-то стукача — возможно, спросит меня недоверчивый читатель. (Пожой вопрос мне уже фактически задавал господин Аполлонов в статье "Комментарий к одному расследованию", напечатанной в № 1 за 2002 год "Российской музыкальной газеты".) Читатель! Стукач — глаза и уши режима. По моему, этим все сказано, тем более, что речь идет о кругах престижной интеллигенции, где, в сущности, рождается общественное мнение. Я не стану анализировать здесь остальные эпизоды следствия, рассказанные Верой Ивановной,

не только потому, что все они могут быть объяснены наличием банального подслушивающего устройства в ее квартире и минимальной фантазией следователя. Есть для этого и другая причина.

Дело в том, что в 2001 году я получил из ФСБ справку, где сказано, что никаких сведений о моем отце в архиве ФСБ не имеется. (Справку я отнес в Музей имени Глинки.) В результате во всем рассказе Прохоровой остается только один обвинительный аргумент, который мог бы быть объективным образом подтвержден. Ответом на него я и ограничусь.

Но прежде чем цитировать Веру Ивановну, сделаю небольшое отступление. С осени 1949 года (вскоре после ареста А.С. Есенина-Вольпина) на моего отца обрушилась жестокая критика в советской музыкальной печати. Все началось со статьи Апостолова ("Советская музыка", 1949, № 8), в основном посвященной разному "Алтайской сюите" моего отца; в этой статье, в частности, утверждалось, что "эстетски усложненная, модернистская сюита Локшина не удовлетворяет требованиям научно-объективного, партийного критерия талантливости". В это самое время отец, опасаясь ареста, сочинял "Приветственную кантату", посвященную Сталину. (В одном из писем того периода он сам жаловался этому моему сочинению.) В декабре 1949 года на III пленуме Союза композиторов отцовская кантата была выдвинута на премию и тут же "задвинута обратно" и разгромлена, причем прозвучали и политические обвинения. "Приветственную кантату" ругали с декабря 1949 года по март 1950 года в "Советской музыке", а затем имя моего отца исчезает со страниц этого журнала, сочинения его не исполняются, постоянная работы он также найти не может. И это на годы...

Добавлю, что в отличие от большинства (если не всех) своих обруганных на пленуме коллег, мой отец не каялся. Я утверждаю это потому, что отчеты о покаяниях регулярно публиковались в "Советской музыке". Что значило не каяться в сталинские времена, я думаю, объяснять не надо.

Теперь продолжу цитировать Веру Ивановну: "Что же касается появившегося во втором издании книги (т.е. во втором издании "Гения зла". — А.Л.) утверждения сына, что разгромная критика кантаты отца, восхваляющей Сталина, на пленуме Союза композиторов СССР в 1949 году (то есть уже после ареста Есенина-Вольпина) является бесспорным доказательством его невиновности, то не надо забывать и другого. Именно в это время Локшин получил жилье — несколько комнат для себя, своей матери и сестры. Тогда это было исключительным событием, и понятно, что человеку гонимому или с сомнительной (с точки зрения советской власти) репутацией квартиру в Москве вряд ли бы предоставили".

Звучит убедительно, не правда ли? Но к действительности имеет очень слабое отношение.

Во-первых, комната была одна, а не "несколько" (и уж тем более не "квартира"). В трехкомнатной квартире № 1 на первом этаже дома 1а (корп. 41) на Беговой улице жилье предоставили трем семьям: Грачевым, Губарьковым и Локшиным. (Это могут подтвердить наши бывшие соседи Мария Трофимовна Грачева и Татьяна Николаевна Губарькова, а также многие другие люди.) Комнату эту отец получил от Союза композиторов благодаря ходатайству Н.Я. Мясковского, который случайно услышал, как некий композитор от нее отказывался, желая получить лучшее жилье.

Во-вторых, комнату Локшин получил не "именно тогда", то есть не во время разгрома кантаты (декабрь 1949 года), а на год раньше. Как следует из статьи Прохоровой, она в упомянутой комнате также бывала и, следовательно, все видела своими глазами. Но незаурядная память подвела на этот раз Веру Ивановну, и одна комната превратилась в "несколько", а время ее получения сдвинулось на целый

год. (Между прочим, в начале своей статьи Прохорова пишет, что чувствует себя обязанной "остановить поток лжи". Так что намерения у Веры Ивановны были самые похвальные.)

Итак, единственный серьезный аргумент Прохоровой, который мог бы быть независимым образом подтвержден, проверки не выдержал. Поэтому я не принимаю всерьез и остальных ее утверждений. Чтобы закрыть жилищную тему, добавлю, что в начале 1951 года, уже после ареста Прохоровой, мой дед по материнской линии, профессор геофака МГУ Б.П. Алисов обменял свою двухкомнатную квартиру (Ново-Песчаная ул., д. 8, кв. 68) на отцовскую комнату, где в то время жили мои отец, мать, бабушка и тетка с открытой формой туберкулеза.

Замечу, наконец, что графологические предположения Прохоровой также не соответствуют действительности: буквы "ш" и "м", написанные моим отцом, прекрасно различимы. (Ксерокопии отцовских писем 1949 года имеются в моем распоряжении.)

Понимает ли Вера Ивановна, что ее "Трагедия предательства" — уникальный документ, доказывающий несостоятельность обвинений в адрес моего отца? А кроме того, ее статья — портрет нашего общества, подвергнувшегося насилию и обману. Мне хочется привести здесь слова Н.И. Гаген-Торн из ее книги "Memoria" (М., 1994, с. 374), как будто специально написанные для ответа Вере Ивановне: "Основой сталинского режима было разрушение естественных чувств. Был проделан социальный опыт: как создать полную автоматическую покорность? Для этого представлялось наиболее пригодным нарушить естественные реакции человека — заботу о близких, веру в друзей, умение отличать правду от лжи. Это было основным для бредового состояния, в которое была поставлена страна: перестать понимать, где правда, где мистификация, кто враг, кто друг". Что я могу к этому добавить? Уверен, что наилучшим опровержением искаженного образа моего отца является его музыка. Ведь она — точнейший психологический портрет ее автора. И этот портрет не имеет ничего общего с тем, который нарисовала Вера Ивановна. Нужно только дать возможность этой музыке прозвучать...

А. Локшин,
сын композитора
4 июня 2002 г.

P.S. Я хочу вернуться к "фразам, сказанным наедине", с помощью которых заключенные определяли доносчика, и добавлю следующие. Думаю, что в интеллектуальной среде, где все дорожает своей репутацией, данный способ, как правило, давал ошибочный результат. Ведь "фраза, сказанная наедине" и предъявленная затем арестованному на допросе, — это всегда саморазоблачение стукача, чего стукач, конечно же, стремится избежать. Для того, чтобы считать такую фразу прямым доносом, нужно суметь исключить:

- а) антисоветские фразы общего типа из лубянских списков;
 - б) остроты, передаваемые от человека к человеку по цепочке;
 - в) комбинации, составленные стукачом из известных ему имен и характерных слов;
 - г) подслушанные фразы; фразы, выведенные у пьяных, и т.п.
- На мой взгляд, гораздо надежнее было бы определять стукача-интеллектуала по карьерному росту, материальному благополучию и творческому бессилию.

От редакции:

РМГ, следуя своему неизменному правилу, предоставила слово обеим сторонам. Теперь читатель имеет «стереофоническое слышание» обсуждаемой проблемы. На этом свою роль в полемике редакция считает исчерпанной. Авторы могут продолжить обсуждение в частной переписке.